Содержание

Дарья Бобылёва
БАБА ОГНЕННАЯ 5

Рина Солнцева
ОВЕЧЬЕ МЯСО 23

Александр Подольский
НЕЧИСТЫЕ 39

Наталья Русинова
БЕРЕГИНЕЧКА 61

Дмитрий Тихонов
ГАРЬ 105

Екатерина Шитова
РУСАЛОЧЬЯ ОБИТЕЛЬ 129

Александр Матюхин
ВЯЗЬ 171

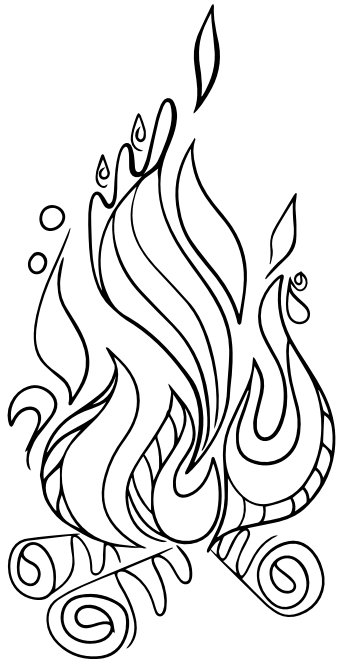
Саша Уба
ПОЛЫНЬ И ПАПОРОТНИК 237

Алексей Провоторов
МОЛОКО 273

Диана Чайковская
ОБЕЩАНИЕ РУСАЛКЕ 293

Элина Лисовская, Мария Роше
МАРОНКА 337

БАБА ОГНЕННАЯ



Про село Стояново рассказывали разное. И люди здесь пропадали, местные и приезжие, и помирали непонятно отчего, и видели всякое — не только пьяницы сельские, но и агрономы, и заслуженные учительницы. В советские годы кристальной ясности и понятности всего на свете, когда человека только в космос запустили, шепотки вокруг Стоянова особенно тревожили. И ведь не стихали они, сколько мер ни предпринимали — всё равно змейками ползли во все стороны эти пересуды, причем обсуждали и вещи совершенно возмутительные. Например, будто местный скульптор, изготовивший памятник Ленину для установки перед стояновским сельсоветом к годовщине Октября, рассказывал, напившись, что сам Ленин трижды являлся ему во сне и просил в Стояново его не везти, не отдавать тварям тамошним на растерзание. Всё это звучало бы как кухонный анекдот, да только скульптор, рассказывая, трясся и чуть не плакал. Вскоре после этого Ленин отправился в Стояново, а скульптор — в психиатрическую лечебницу, что никого не удивило. Люди образованные, в тёмные бабьи глупости не верящие, давно сошлись во мнении, что в Стоянове находится некий очаг безумия, передающегося от человека к человеку неизвестным медицине способом.

Многие помнили историю, как немцы шли в Стояново, да так и не дошли.

* * *

Это было зимой. Небольшой немецкий отряд — то ли разведывательный, то ли просто от своих отбившийся, — шёл за непонятной иностранной надобностью в спрятав-

шееся за лесами, никому в общем-то не нужное село. Началась вьюга, и немцы укрылись в охотничьем домике, который возник у них на пути, точно по волшебству. В домике и припасы кое-какие нашлись, и одеяла тёплые — будто ко встрече дорогих гостей подготовились.

А нашёл немцев через пару дней древний дед-охотник из Стоянова — собака его всё сворачивала к домику, возилась вокруг и дверь скребла. Охотник, как и все в Стоянове, знал, что в дом этот соваться нельзя ни в коем случае, там не то кикимора обжилась, не то шуликуны, не то медвежий царь. Поэтому сначала он сбегал в село, собрал самых смелых и любопытных, а потом они вместе открыли дверь со всеми предосторожностями.

Немцы валялись внутри кто на полу, кто на лавке. С синими лицами, выпученными глазами и разинутыми ртами — так широко разинутыми, что губы в уголках надорвались. Стояновские смельчаки оторопели — они и подумать не могли, что при первой встрече с врагом им этого врага так жалко станет по причине мученической смерти. Только один немчик выжил — молоденький, беленький, нос картошкой. Выполз из-под мёртвых тел и ревёт. Бабы стояновские смотрели-смотрели и тоже реветь начали. У кого сын на фронте, у кого муж, и этот вроде как убивать их пришёл, нелюдь фашистская, а жалко мальчишку — сил нет. Так и не выдали они его, спрятали у кого-то, травами отпаивали, да не отпоили, умер немчик через пару дней. Спать не мог совсем — всю ночь сидел, пальцем в углы тёмные тыкал и орал как резаный по-своему.

Представили всё потом как положено: героические, мол, партизаны уничтожили целую роту немцев на подходе к селу Стояново. Вот только партизан в здешних лесах отродясь не водилось.

* * *

Ничем не примечательная девочка Серафима родилась в Стоянове на самом излете войны. Отца своего она помнить не могла, хоть и вернулся он с фронта благополучно. Только без ноги, и щека одна точно сжёванная, в чёрной въевшейся грязи. Но соседки зря Серафиминой матери завидовали — сломался он где-то внутри. Пил, ревел, на дочку Таньку и на жену, забрюхатевшую на радостях, кидался. И шептал, косясь куда-то вниз, что в полевом госпитале к нему, когда ногу оперировали, фрица мёртвого случайно пришили. И куда он ни пойдёт, фриц за ним тащится, зубы скалит — губы-то ему пожгло, всё лицо пожгло, только зубы остались и глаза — светлые-светлые, наглые. Ночами безногий мутузил кулаками воздух, кидался всем, что подвернётся, в натопленную жилую тьму:

— Сгинь, белоглазый!

И только дед Митрий умел сына озверевшего кое-как успокоить. Говорил, что фриц-то нестрашный, безобидный, в общем, фриц, сопляк совсем, и не будет же он вечно за солдатом Красной армии таскаться — не выдержит да и отвалится.

Не выдержал сам Серафимин отец. Приковылял однажды в дровяной сарай да и отрубил себе культю, к которой, как ему чудилось, мёртвый немец пришит был. Повредил в ноге какой-то важный сосуд и истёк кровью. Но умер радостно, улыбался с таким облегчением, точно наконец победил, и муки его кончились, и твердил:

— Ушёл, ушёл белоглазый…

* * *

На следующий день после смерти отца Серафима на свет пожаловала раньше срока. Мать её в бане родила — как прихватило, так и ушла туда тихонько, подальше от покойника и хлопот вокруг него. И не позвала с собой никого как положено, чтобы банница ребёнка не подменила.

Нехорошо всё это было. Приходили стояновские бабки-шептуньи посмотреть на девочку, беспокоились — мало ли кто мог через отцовскую кровь да без пригляда явиться. И так обезлюдело Стояново, плохо жило, голодно и совсем беззащитным стало перед теми, кто вокруг обитал. Бабки говорили, что и в лесу, и в реке, и в поле, и в домах даже — везде кто-то живет, и никак с этими жителями не сладить, только соседствовать можно, и то по правилам определённым, и не человек эти правила назначает. Не были странные соседи ни добрыми, ни злыми, потому что сердца не имели, души человечьей. От таких всего можно ждать.

В глаза младенцу заглядывали — искали, есть ли «мясо» в уголках, и пальчик кололи, а дед Митрий лично топором замахивался, будто ударит вот-вот — этого подменыши больше всего боялись, превращались сразу обратно кто в полено, кто в веник. Девочка исправно, звонко вопила, мать рыдала и просилась покормить ребёночка, даже молчаливая обычно Танька присоединилась к общему рёву. Никаких плохих знаков не обнаружили. Окрестили девочку Серафимой, чтобы чистая сила вместе с ней на имя откликалась, и успокоились.

* * *

Между селом и рекой было в те годы большое поле. Засевали его рожью, и поле спасало Стояново в голодные времена. И в засуху, и в войну, когда пахали кое-как

оставшиеся в селе бабы с детьми, и в злые високосные годы, когда то заморозками било, то градом, поле всё равно приносило урожай. Поговаривали, конечно, что есть на то своя причина и лучше простому человеку её не знать. У поля даже свой зарок был — не показываться там в полдень. Успели, не успели до полудня работу закончить — уходите, не оглядывайтесь, потом вернётесь, когда солнце чуть спадёт. А детям на поле соваться и вовсе было запрещено. Их пугали старинной, но безотказной историей про Назарку с Макаркой, которые в полдень пошли в рожь играть и сгинули, ни косточки от них не нашли, а только праха горстку, дунули — рассыпалась.

Вот только Серафима, которой к тому времени десять лет исполнилось, была боевая и в сказки не верила. И завела себе во ржи тайное гнездо, куда при первой возможности сбегала — от матери с Танькой, от бесчисленных дел, которые для Серафимы в любое время находились, от деда, который уже два года, как помирал в углу за занавеской, ругался и пах плохо. Тут у Серафимы хранились под камушком сокровища: ленточки, обёртки, курий бог и, самое ценное, Танькино битое зеркальце в красивой оправе. Танька его случайно грохнула, а мать велела унести подальше и закопать. Серафима унести унесла, но закапывать не стала — как же такую прекрасную вещь и в землю. Ведь и посмотреться можно в зеркальце, хоть и треснутое, и «зайчиков» попускать, и погадать на Крещенье, как взрослые.

Гнездо у Серафимы было на дальнем краю поля, поближе к речной прохладе. На реку Серафима и уходила в полдень, когда солнце начинало особенно сильно печь голову. Совсем уж нарушать зарок, про который всё Стояново знало, было боязно. И всё-таки пекло Серафиму вместе с солнцем любопытство — что же такое творится на

полуденном поле, почему даже суровая Танька, которая ни в бога, ни в чёрта не верит, да что там Танька — даже председатель там показываться не смеет?

* * *

И вот однажды осталась Серафима на поле в полдень — то ли из-за этих мыслей, то ли просто заигралась. А вернее всего — за солнцем не уследила, облака мешали. Что пора убегать, она поняла поздно — когда порыв странного горячего ветра, неизвестно откуда взявшегося, пронесся по полю, пригибая колосья к земле. А вокруг ветра не было, на чутких ивах у реки не дрогнула ни единая веточка.

Серафима вскочила, чтобы юркнуть поскорее в ивняк, и тут же спряталась в своё гнездо обратно, пригнулась вместе с рожью. Потому что успела увидеть парящую над полем высоченную фигуру в чём-то нестерпимо белом, ярком, раздувающемся книзу колоколом. И из белого в тех местах, где у человека руки-ноги находятся, вырывались лучи слепящего света. А самый яркий луч бледного огня бил оттуда, где должно было быть лицо. Фигура плыла над волнующейся рожью и вертела по сторонам головой, точно прожектором. Как-то Серафима фильм в клубе про войну видела — точно такими прожекторами там шарили по небу, выискивая фашистские самолёты.

От фигуры шёл сухой жар, и его раскалённые волны чувствовались на расстоянии. Страшно было, конечно, очень — но и любопытно до ужаса. Ведь белый день стоял вокруг. Ночью от такого огненного чучела Серафима сломя голову бы бежала, а сейчас любопытство грызло её изнутри, подзуживало хоть разглядеть сначала получше, что же это летает над полем, а потом уже убегать. И Серафима, прижавшись к земле и мелко дрожа, нацелила на непонятное чучело своё битое зеркальце.

В зеркальце она увидела, как плывёт в воздухе горящая ровным белым огнём фигура высотой с целое дерево, вертя головой, поводя руками — и от каждого её движения прокатывается по ржи волна горячего ветра. Даже отражённый свет из зеркальца был таким ярким и жгучим, что Серафима жмурилась, слёзы щекотали в носу. А потом…

Луч, бивший, как из прожектора, из-под белого куколя у фигуры на голове, попал в не вовремя поднятое Серафимой зеркальце и вернулся прямо огненному чучелу в лицо. И Серафима это лицо в отражении явственно увидела: безносое, белоглазое, с трещиной рта от уха до уха — это если представить, что уши под куколем всё-таки есть. Лицо было бабье, точно у оставленной надолго под палящим солнцем, иссохшей покойницы. И, видно, ослепил белую бабу собственный отражённый свет, обжёг: она издала пронзительный крик и закрылась рукой. Удушающий жар разлился над полем, Серафима упала ниц, вжалась лицом в землю. Воздух стал нестерпимо горячим, слышно было, как что-то уже начинает потрескивать. И всё звенел в ушах долгий обиженный крик, нелюдской совсем, птичий. Серафима чуяла запах палёного волоса и в ужасе думала, что это она, сама она горит... Потом будто полегче стало, попрохладнее. Серафима подняла наконец голову, жадно глотая воздух, — никого ни в поле, ни в небе над ним не было, только рожь всё ещё волновалась.

* * *

Домой Серафима прибежала вся в волдырях от ожогов, с закрутившимися в мелкие колечки опалёнными волосами. Дед, как увидел, чуть с кровати не свалился. А Серафима, рыдая и воя от того, что солёные слёзы ещё больнее делают, рассказала, что над полем баба огненная летает и что чуть живьем её не спалила. А дед вместо того